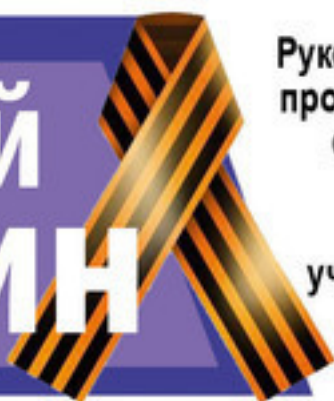


# Николай Никулин



Рукопись этой книги более 30 лет  
пролежала в столе автора, такой  
страшной была рассказанная  
в ней правда о войне.

Попав на самые кровавые  
участки боев под Ленинградом  
и дойдя потом до Берлина,  
он чудом остался жив.

Библиотека «Петербургского дневника»



## Воспоминания О ВОЙНЕ

Писатели на войне, писатели о войне

Писатели на войне, писатели о войне

Николай Никулин  
**Воспоминания о войне**

«Информационно-издательский центр  
Правительства Санкт-Петербурга»

2015

УДК 82  
ББК 63.3(2)622

**Никулин Н. Н.**

Воспоминания о войне / Н. Н. Никулин — «Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга»,  
2015 — (Писатели на войне, писатели о войне)

ISBN 978-5-91498-059-4

Рукопись этой книги более 30 лет пролежала в столе автора, который не предполагал ее публиковать. Попав прямо со школьной скамьи на самые кровавые участки Ленинградского и Волховского фронтов и дойдя вплоть до Берлина, он чудом остался жив. «Воспоминания о войне» — попытка освободиться от гнетущих воспоминаний. Читатель не найдет здесь ни бодрых ура-патриотических описаний боев, ни легкого чтения. Рассказ выдержан в духе жесткой окопной правды. Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся историей страны.

УДК 82  
ББК 63.3(2)622

ISBN 978-5-91498-059-4

© Никулин Н. Н., 2015  
© Информационно-издательский центр  
Правительства Санкт-Петербурга, 2015

## Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	5
НАЧАЛО	6
ПОГОСТЬЕ	15
Конец ознакомительного фрагмента.	18

# Николай Никулин

## Воспоминания о войне

### ПРЕДИСЛОВИЕ

Мои записки не предназначались для публикации. Это лишь попытка освободиться от прошлого: подобно тому как в западных странах люди идут к психоаналитику, выкладывают ему свои беспокойства, свои заботы, свои тайны в надежде исцелиться и обрести покой, я обратился к бумаге, чтобы выскрести из закоулков памяти глубоко засевшую там мерзость, муть и свинство, чтобы освободиться от угнетавших меня воспоминаний. Попытка наверняка безуспешная, безнадежная... Эти записки глубоко личные, написанные для себя, а не для постороннего глаза, и от этого крайне субъективные. Они не могут быть объективными потому, что война была пережита мною почти в детском возрасте, при полном отсутствии жизненного опыта, знания людей, при полном отсутствии защитных реакций или иммунитета от ударов судьбы. В них нет последовательного, точного изложения событий. Это не мемуары, которые пишут известные военачальники и которые заполняют полки наших библиотек. Описания боев и подвигов здесь по возможности сведены к минимуму. Подвиги и героизм, проявленные на войне, всем известны, много раз воспеты. Но в официальных мемуарах отсутствует подлинная атмосфера войны. Мемуаристов почти не интересует, что переживает солдат на самом деле. Обычно войны затевали те, кому они меньше всего угрожали: феодалы, короли, министры, политики, финансисты и генералы. В тиши кабинетов они строили планы, а потом, когда все заканчивалось, писали воспоминания, прославляя свои доблести и оправдывая неудачи. Большинство военных мемуаров восхваляют саму идею войны и тем самым создают предпосылки для новых военных замыслов. Тот же, кто расплачивается за все, гибнет под пулями, реализуя замыслы генералов, тот, кому война абсолютно не нужна, обычно мемуаров не пишет.

Здесь я пытался рассказать, о чем я думал, что больше всего меня поражало и чем я жил четыре долгих военных года. Повторяю – рассказ этот совсем не объективный. Мой взгляд на события тех лет направлен не сверху, не с генеральской колокольни, откуда все видно, а снизу, с точки зрения солдата, ползущего на брюхе по фронтовой грязи, а иногда и уткнувшего нос в эту грязь. Естественно, я видел немного и видел специфически.

В такой позиции есть свой интерес, так как она раскрывает факты совершенно незаметные, неожиданные и, как кажется, не такие уж маловажные. Цель этих записок состоит отчасти в том, чтобы зафиксировать некоторые почти забытые штрихи быта военного времени. Но главное – это попытка ответить самому себе на вопросы, которые неотвязно мучают меня и не дают покоя, хотя война давно уже кончилась, да, по сути дела, кончается и моя жизнь, у истоков которой была эта война.

Поскольку данная рукопись не была предназначена для постороннего читателя, я могу избежать извинений за рискованные выражения и сцены, без которых невозможно передать подлинный аромат солдатского быта – атмосферу казармы.

Если все же у рукописи найдется читатель, пусть он воспринимает ее не как литературное произведение или исторический труд, а как документ, как свидетельство очевидца.

*Ленинград, 1975*

## НАЧАЛО

*Война – достойное занятие для настоящих мужчин*  
**Карл XII, король Швеции**

*Господи, Боже наш! Боже милосердный! Вытащи меня из этой  
помойки!*

Весной 1941 года в Ленинграде многие ощущали приближение войны. Информированные люди знали о ее подготовке, обывателей настораживали слухи и сплетни. Но никто не мог предполагать, что уже через три месяца после вторжения немцы окажутся у стен города, а через полгода каждый третий его житель умрет страшной смертью от истощения. Тем более мы, желторотые птенцы, только что вышедшие из стен школы, не задумывались о предстоящем. А ведь большинству суждено было в ближайшее время погибнуть на болотах в окрестностях Ленинграда. Других, тех немногих, которые вернутся, ждала иная судьба – остаться калеками, безногими, безрукими, или превратиться в неврастеников, алкоголиков, навсегда потерять душевное равновесие.

Объявление войны я и, как кажется, большинство обывателей встретили не то чтобы равнодушно, но как-то отчужденно. Послушали радио, поговорили. Ожидали скорых побед нашей армии – непобедимой и лучшей в мире, как об этом постоянно писали в газетах. Сражения пока что разыгрывались где-то далеко. О них доходило меньше известий, чем о войне в Европе. В первые военные дни в городе сложилась своеобразная праздничная обстановка. Стояла ясная, солнечная погода, зеленели сады и скверы, было много цветов. Город украсился бездарно выполненными плакатами на военные темы. Улицы ожили. Множество новобранцев в новехонькой форме деловито сновало по тротуарам. Повсюду слышалось пение, звуки патефонов и гармошек: мобилизованные спешили последний раз выпить и отпраздновать отъезд на фронт. Почему-то в июне-июле в продаже появилось множество хороших, до тех пор дефицитных книг. Невский проспект превратился в огромную букинистическую лавку: прямо на мостовой стояли столы с кучами книжек. В магазинах пока еще было продовольствие, и очереди не выглядели мрачными.

Дома преобразились. Стекла окон повсюду оклеивали крестнакрест полосками бумаги. Витрины магазинов забивали досками и укрывали мешками с песком. На стенах появились надписи – указатели бомбоубежищ и укрытий. На крышах дежурили наблюдатели. В садах устанавливали зенитные пушки, и какие-то не очень молодые люди в широких лыжных штанах маршировали там с утра до вечера и кололи чучела штыками. На улицах то и дело появлялись девушки в нелепых галифе и плохо сшитых гимнастерках. Они несли чудовищных размеров баллоны с газом для аэростатов заграждения, которые поднимались над городом на длинных тросах. Напоминаая огромных рыб, они четко вырисовывались в безоблачном небе белых ночей.

А война, между тем, где-то шла. Что-то происходило, но никто ничего толком не знал. В госпитали стали привозить раненых, мобилизованные уезжали и уезжали. Врезалась в память сцена отправки морской пехоты: прямо перед нашими окнами, выходящими на Неву, грузили на прогулочный катер солдат, полностью вооруженных и экипированных. Они спокойно ждали своей очереди, и вдруг к одному из них с громким плачем подбежала женщина. Ее уговаривали, успокаивали, но безуспешно. Солдат силой отрывал от себя судорожно сжимавшиеся руки, а она все продолжала цепляться за вещмешок, за винтовку, за противогазную сумку. Катер уплыл, а женщина еще долго тоскливо выла, ударяясь головой о гранитный парапет

набережной. Она почувствовала то, о чем я узнал много позже: ни солдаты, ни катера, на которых их отправляли в десант, больше не вернулись.

Потом мы все записались в ополчение... Нам выдали винтовки, боеприпасы, еду (почему-то селедку – видимо, то, что было под рукой) и погрузили на баржу, что стояла у берега Малой Невки. И здесь меня в первый раз спас мой Ангел-хранитель, принявший образ пожилого полковника, приказавшего высадить всех из баржи и построить на берегу. Мы сперва ничего не поняли, а полковник внимательно оглядел всех красными от бессонницы глазами и приказал нескольким выйти из строя. В их числе был и я.

«Шагом марш по домам! – сказал полковник. – И без вас, сопливых, ТАМ тошно!» Оказывается, он пытался что-то исправить, сделать как следует, предотвратить бессмысленную гибель желторотых юнцов. Он нашел для этого силы и время! Но все это я понял позднее, а тогда вернулся домой, к изумленному семейству...

Баржа, между тем, проследовала по Неве и далее. На Волхове ее, по слухам, разбомбили и утопили мессершмитты. Ополченцы сидели в трюмах, люки которых предусмотрительное начальство приказало запереть – чтобы чего доброго не разбежались, голубчики!

Я вернулся домой, но через неделю получил официальную повестку о мобилизации. Военкомат направил меня в военное училище – сперва одно, потом другое, потом третье. Все мои ровесники были приняты, а меня забраковала медицинская комиссия – плохое сердце. Наконец, и для меня нашлось подходящее место: школа радиоспециалистов. И здесь еще не пахло войной. Все было весело, интересно. Собрали бывших школьников, студентов – живых, любознательных, общительных ребят. Смех, шутки, анекдоты. Вечером один высвистывает на память все сонаты Бетховена подряд, другой играет на гуслях, которые взял с собой на войну. А как интересно спать на двухэтажных койках, где нет матрацев, а только проволочная сетка, которая отпечатывается за ночь на физиономии! Как меняются люди, переодетые в форму! И какой смешной сержант:

– Ага, вы знаете два языка! Хорошо – пойдете чистить уборную!

Уроки сержанта запомнились на всю жизнь. Когда я путал при повороте в строю правую и левую стороны, сержант поучал меня:

– Здесь тебе не университет, здесь головой думать надо!

Первые уроки воинского этикета преподавал нам сам начальник школы – старый служака, побывавший еще на Гражданской войне. Маршируя по двору, мы встретили его и, как нас учили, старательно доложили:

– Товарищ полковник, отделение следует на занятия!

– Не следует, а яйца по земле волочит, – был ответ...

А старший политрук какой был весельчак! На политбеседе он сообщил:

– Украина уже захвачена руками фашистских лап!

А потом, после отбоя, гонял всю роту по плацу. Солдаты громко топали одной ногой и едва слышно ступали другой – это была стихийная демонстрация общей неприязни к человеку, который никому из нас не нравился. Коса нашла на камень – политрук обещал гонять нас до утра. Только вмешательство начальника училища исправило положение.

– Прекратить! – заявил он. – Завтра напряженный учебный день.

Этот политрук потом, когда началась блокада и мы стали пухнуть от голода, повадился ходить в кухню и нажирался там из солдатского котла... Каким-то образом ему удалось выйти живым из войны. В 1947 году, отправившись по делам в Москву, я увидел в поезде знакомую бандитскую рожу со шрамом на щеке. Это был наш доблестный политрук, теперь проводник вагона, угодливо разносивший стаканы и лихо бравший на чай. Он, конечно, меня не узнал, и я с удовольствием вложил полтинник в его потную честную руку.

Занимались в школе с интересом, да и дело было привычное; всего два месяца прошло, как мы встали из-за парт. Нехитрая премудрость азбуки Морзе была быстро освоена всеми.



Сверхъестественной армейской муштры не было – для этого не хватало времени. Правда, строевые занятия и уроки штыкового боя доводили курсантов до полного изнеможения. Иногда устраивали парады под музыку. Но оркестр подкачал: это был джазовый ансамбль, мобилизованный и переодетый в военную форму. Вместо строевого ритма он постоянно сбивался на румбу, вызывая многоэтажную брань начальника школы. Парады прекратили после появления немецкого самолета-разведчика, сфотографировавшего это зрелище.

Война тем временем где-то шла. Первое представление о ней мы получили, когда на территорию школы прибыла с фронта для пополнения и приведения в порядок разбитая дивизия. Всех удивило, что фронтовики жадно едят в огромных количествах перловую кашу, остававшуюся в столовой. Курсанты радиошколы были недавно из дома, еще изнежены и разборчивы в еде. Некоторые поначалу не могли привыкнуть к армейской пище. Однажды я проснулся часа в три ночи от какого-то странного хруста. Его причина обнаружилась в тамбуре у входа: там стоял Юрка Воронов, сын известного ленинградского актера, и торопливо поедая курицу, доставленную из дома любящими родителями.

Солдаты с фронта были тихие, замкнутые. Старались общаться только друг с другом, словно их связывала общая тайна. В один прекрасный день дивизию выстроили на плацу перед казармой, а нам приказали построиться рядом. Мы шутили, болтали, гадали, что будет. Скомандовали «смирно» и привели двоих, без ремней. Потом капитан стал читать бумагу: эти двое за дезертирство были приговорены к смертной казни. И тут же, сразу – мы еще не успели ничего понять – автоматчики застрелили обоих. Просто, без церемоний... Фигурки подергались и застыли. Врач констатировал смерть. Тела закопали у края плаца, заровняв и утоптав землю. В мертвой тишине мы разошлись. Расстрелянные, как оказалось, просто ушли без разрешения в город – повидать родных. Для укрепления дисциплины устроили показательный расстрел. Все было так просто и так страшно! Именно тогда в нашем сознании произошел сдвиг: впервые нам стало понятно, что война – дело нешуточное и что она нас тоже коснется.

В августе дела на фронте под Ленинградом стали плохи, дивизия ушла на передовые позиции, а с нею вместе – половина наших курсов в качестве пополнения. Все они скоро сгорели в боях. Ангел-хранитель вновь спас меня: я остался в другой половине. Начались бомбежки. Особенно эффектно была первая, в начале сентября. В тишине солнечного дня в воздухе вдруг возник гул, неизвестно откуда исходящий. Он все нарастал и нарастал, задрожали стекла, и все кругом стало вибрировать. Вдали, в ясном небе, появилась армада самолетов. Они летели строем, на разной высоте, медленно, уверенно. Кругом взрывались зенитные снаряды – словно клочья ваты в голубом небе. Артиллерия била суматошно, беспорядочно, не причиняя вреда самолетам. Они даже не маневрировали, не меняли строй и, словно не замечая пальбы, летели к цели. Четко видны были желтые концы крыльев и черные кресты на фюзеляжах. Мы сидели в «щелях» – глубоких, специально вырытых канавах. Было очень страшно, и я вдруг заметил, что прячусь под куском брезента.

Фугасные бомбы, сотрясая землю, рвались вдали. На нас же посыпались зажигалки. Они разрядили обстановку: курсанты повыскакивали из укрытий и бросились гасить очаги пожаров. Это было вроде новой увлекательной игры: зажигалка горит, как бенгальский огонь, и надо ее сунуть в песок. Шипя и пуская пар, она гаснет. Когда все кончилось, мы увидели клубы дыма, занимавшие полнеба. Это горели Бадаевские продовольственные склады. Тогда мы еще не могли знать, что этот пожар решит судьбу миллиона жителей города, которые погибнут от голода зимой 1941–1942 годов.

Бомбежки стали систематическими. Во двор училища угодила фугаска, разорвавшая в клочья нескольких человек, были разбиты здания на соседних улицах, в частности госпиталь (там, где сейчас ГИДУВ). Ходили слухи, что шпионы сигнализировали немецким самолетам с крыши этого здания с помощью зеркала. Ночи мы проводили в укрытиях, вырытых во дворе. Отказали водопровод, канализация. За два часа клозеты наполнились нечистотами, но началь-



ство быстро приняло меры: тому, кто знал два языка, пришлось основательно поработать, а во дворе выкопали примитивные устройства, как в деревне. Потери от бомбежек были невелики, больше было страха. Я сильно перетрусил, когда бомба взорвалась за окном и бросила в меня здоровенное бревно, вышибившее две рамы вместе со стеклами. За секунду до того я почему-то присел, и бревно, пролетев над моей головой, ударилось в стену рядом.

В обстановке всеобщей безалаберности свободно действовали немецкие агенты, по вечерам освещая цели множеством ракет. Одна из ракет взлетела однажды с нашего чердака. Но, конечно, никого обнаружить не удалось, так как все, кто был поблизости, – человек полтора – бросились ловить ракетчика. Создалась бестолковая и безрезультатная давка.

В начале октября прошедших курс обучения отправили на станцию Левашово для полевой практики. Там, в летних домиках артиллерийского училища мы прожили месяц. Зима была ранняя. Выпал снег, который уже не исчезал до весны. Практика в основном сводилась к сидению на морозе и радиосвязи между отдельными группами курсантов. Привыкали мерзнуть и голодать. Хотя настоящего голода еще не было. На триста граммов хлеба в день прожить можно. Но мы собирали желуди, коренья. Мечтали попасть на дежурство на кухню, и однажды первому взводу повезло. Вернувшись вечером, этот взвод блевал на нас, на второй взвод, спавший на нижних нарах: с непривычки ребята объелись и расстроили желудки. Настроение, однако, было бодрое. По-прежнему шутили, даже по поводу нехватки еды.

Левашово находилось вне зоны бомбежек. Но однажды ночью, стоя часовым около склада продовольствия, я наблюдал очередной налет на Ленинград. Это было потрясающее зрелище! Вспышки разрывов бомб, зарево пожаров, разноцветные струи трассирующих пуль и снарядов, дымные протуберанцы, освещенные багровыми отблесками. Все это пульсировало, содрогалось, растягиваясь по всему горизонту. Издали доносился глухой несмолкающий гул. Земля подрагивала. Казалось, никто не уцелеет в этом аду. Я с тоской и ужасом думал о родственниках, находящихся там. Утром добрый заведующий складом подарил мне ЦЕЛЮЮ (!) буханку хлеба. Я съел половину, остальное отнес товарищам. Помню, как наполнились слезами красивые карие глаза одного из них. Фамилия его была, кажется, Мандель... Однажды мы целую ночь дежурили у радиостанции, сидя в сугробе. Кругом никого не было, и когда в эфире зазвучала немецкая агитационная передача для русских, мы решили ее послушать. Нас поразило не сообщение о разгроме очередной группы войск, не цифры потерь, пленных и трофеев, а то, что диктор называл Буденного и Ворошилова, о которых у нас писали только в превосходной степени, бездарными профанами в военной области. Вообще мы тогда смутно сознавали серьезность положения, понимали, что Ленинград на грани разгрома, но о поражении не думали, и топорная пропаганда немцев не очень на нас действовала. Хотя на душе было достаточно скверно<sup>1</sup>.

В начале ноября нас вернули в холодные, без стекол, ленинградские казармы. Перед отправкой на фронт ротам было поручено патрулировать город. Проверяли документы, задерживали подозрительных. Среди последних оказались окруженцы, вышедшие из-под Луги и из других «котлов». Это были страшно отощавшие люди – кости, обтянутые коричневой обветренной кожей...

Город разительно отличался от того, что было в августе. Везде следы осколков, множество домов с разрушенными фасадами, открывавшие квартиры как будто в разрезе: кое-где удерживались на остатках пола кровать или комод, на стенах висели часы или картины. Холодно,

<sup>1</sup> Чего стоит такой, например, перл немецкой агитации: *бей жида-политрука. Морда просит кирпича...* (надпись на листовке). Интересно, кто это сочинял: немцы или перебежавшие к ним русские? А это уж точно русские: Справа молот. Слева серп: Это наш советский герб. Хочешь жни, А хочешь куй. Все равно получишь... по потребности. Листовки с портретом генерала Власова в немецкой форме вызывали всеобщее острое раздражение и действовали в нашу пользу. Странно, что немцы не могли этого понять. Эти листовки относятся, правда, к 1943–1944 годам. Можно утверждать, что немецкая агитация подобного рода была организована очень плохо. И это не похоже на немцев, которые умели предусмотреть все мелочи.

промозгло, мрачно. Клодтовы кони сняты. Юсуповский дворец поврежден. На Музее этнографии снизу доверху – огромная трещина. Шпили Адмиралтейства и Петропавловского собора – в темных футлярах, а купол Исаакия покрашен нейтральной краской для маскировки. В скверах закопаны зенитные пушки. Изредка с воем проносятся немецкие снаряды и рвутся вдали. Мерно стучит метроном. Ветер носит желтую листву, ветки, какие-то грязные бумажки... В городе царит мрачное настроение, хорошо выраженное в куплетах, несколько позже сочиненных ленинградской шпаной:

В блокаде Ленинград, стреляют и бомбят,  
Снаряды дальноточные летят.  
В квартире холодно, в квартире голодно,  
В квартире скучно нам, как никогда, ха-ха!  
Морозы настают, нам хлеба не дают,  
Покойничков на кладбище несут.  
В квартире холодно, в квартире голодно.  
В квартире скучно нам, как никогда, ха-ха! и т. д.

Пост наш был около Филармонии, и какие-то добрые люди – прохожие – сообщили матери, где я. Тут мы успели последний раз встретиться, и она принесла мне кое-что поесть.

В ночь на 7 ноября была особенно зверская бомбежка (говорили, что Гитлер обещал ее ленинградцам), а наутро, несмотря на обстрел, мы маршировали к Финляндскому вокзалу, откуда в товарных вагонах нас привезли на станцию Ладожское озеро. Ночь провели в вагоне, буквально лежа друг на друге. И это было хорошо, так как на дворе стоял двадцатиградусный мороз. Согреться можно было только прижавшись к соседу. Утром с разбитого бомбами причала нас благополучно погрузили на палубу старенького корабля, переделанного в канонерскую лодку. Переход через Ладогу был спокойный: небо затянуто облаками, большая волна, шторм. Самолеты не прилетали, но мы изрядно промерзли на ветру. Грелись, прижавшись к трубе. Тут я совершил удачную сделку, выменяв у скупого Юрки Воронова три леденца на полсухаря.

В заснеженной Новой Ладоге мы отдыхали день, побираясь, кто где мог. Клянчили еду у жителей, на хлебозаводе. Потом сутки шли по глухим лесам, разыскивая штаб армии. Кое-кто отстал, кое-кто обморозился. В штабе нас распределили по войсковым частям. Лучше всех была судьба тех, кто попал в полки связи. Там они работали на радиостанциях до конца войны и почти все остались живы. Хуже всех пришлось зачисленным в стрелковые дивизии.

– Ах, вы радисты?! – сказали им. – Вот вам винтовки, а вот – высота. Там немцы! Задача – захватить высоту!

Так и полегли новоиспеченные радисты на безымянных высотах. Моя судьба была иная: полк тяжелой артиллерии. Мы искали его неделю, мотаясь по прифронтовым деревням. Дважды пересекли замерзший Волхов с громадной электростанцией. Питались чем Бог пошлет. Что-то урвали у служащих волховской столовой. Там готовилась эвакуация, и происходило воровство продуктов. Делалось это настолько открыто и бесстыдно, что директорше неудобно было отказать нам в скромной просьбе о еде. В другой раз на окраине деревни Войбокало (она через считанные дни была сметена с лица земли) сердобольная молодуха вынесла нам на крыльцо объедки ватрушек и прочей вкусной снеди: у нее находился на постое большой начальник – какой-то старшина, он не доел поутру свой завтрак.

Ночевали где попало. То в пустом зале станции Волхов-2 (она была еще цела, здесь столкнулись с вооруженными людьми в штатском. Это был отряд партизан, которым предстояло идти в немецкий тыл), то у какой-то старушки на печи. В городе Волхове дыхание войны вновь коснулось нас. Сумеречным вечером проходили мы мимо школы, превращенной в госпиталь. В уголке сада, рядом с дорогой, два пожилых санитаров хоронили убитых. Неторопливо выкопали

яму, сняли с мертвецов обмундирование (инструкция предписывала беречь государственное имущество). Один труп с пробитой грудью когда-то был божественно красивым юношей. Тугие мышцы, безупречное сложение, на груди выколот орел. На правом плече надпись «Люблю природу», на левом – «Опять не наелся». Это были парни из разведки морской бригады. Первый раз бригада полегла под Лиговом, затем ее пополнили и отправили на Волховский фронт, где она очень скоро истекла кровью... Санитары столкнули трупы в яму и забросали их мерзлой землей. Мы поглядели друг на друга и пошли дальше. (Потом, летом, я видел, как похоронные команды засыпали мертвецов известью – во избежание заразы. Но хоронили лишь немногих, тех, кого удавалось вытащить из-под огня. Обычно же тела гнили там, где застала солдатиков смерть).

После долгих блужданий, рискуя попасть в руки наступавшим немцам или угодить в штрафную роту, как дезертиры, мы добрались до станции Мурманские ворота. Там молодые розовощекие красноармейцы в ладных полушубках сообщили нам, что они служат в полку совершенно таком же, как тот, что мы ищем. А наш полк найти невозможно, он где-то под Тихвином. Поэтому нам надо проситься в их часть. Начальство в лице капитана по фамилии Седаш приняло нас радушно и приказало зачислить во второй дивизион полка. Этот Седаш – большого роста, крепыш, лысый, веселый, курил аршинные самокрутки и непревзойденно, виртуозно матерился. Он был способный офицер, только что окончивший Академию, и дело в полку было поставлено по тем временам отлично. Достаточно сказать, что в августовских боях под Киришами, когда пехота частично разбежалась, а частично пошла в плен, поднимая на штык белые подштанники, полк Седаша несколько дней своим огнем сдерживал немецкое наступление. Вскоре за эти действия он стал гвардейским. Седаш впоследствии стал полковником, успешно командовал артдивизией (под Нарвой и Новгородом в начале 1944 года), но в генералы не вышел – по слухам, был замешан в афере с продовольствием. В 1945 году его тяжело ранило под Будапештом.

Ирония судьбы! Я всегда боялся громких звуков, не терпел в детстве пугачей и хлопшек, а угодил в тяжелую артиллерию! Но это была счастливая судьба, ибо в пехоте во время активных действий человек остается жив в среднем неделю. Затем его обязательно ранит или убивает. В тяжелой артиллерии этот период увеличивается до трех-четырех месяцев. Те же, кто непосредственно стреляли из пушек, умудрялись оставаться целыми всю войну. Ведь пушка стоит в тылу и ведет огонь с закрытых позиций. Но к пушкам обычно ставили пожилых. Молодежь, и я в том числе, оказывалась во взводах управления огнем. Наше место – на передовых позициях. Мы должны наблюдать за противником, корректировать огонь, осуществлять связь. Лично я – радиосвязь. Мы в атаку не ходим, а ползем вслед за пехотой. Поэтому потери у нас неизмеримо меньше. И полк, в который я попал, сохранился в своем первоначальном составе с момента формирования, тогда как пехотные дивизии сменили своих солдат по многу раз, сохранив лишь номера. Все это я узнал потом. А пока мне выдали триста граммов хлеба, баланду и заменили ленинградские сапоги старыми разнокалиберными валенками.

Как раз в день нашего приезда здесь срезали продовольственные нормы, так как пал Тихвин и снабжение нарушилось. Здесь только стали привыкать к голоду, а я уже был дистрофиком и выделялся среди солдат своим жалким видом. Все было для меня непривычно, все было трудно: стоять на тридцатиградусном морозе часовым каждую ночь по четыре-шесть часов, копать мерзлую землю, таскать тяжести – бревна и снаряды (ящик – сорок шесть килограммов). Все это без привычки, сразу. А сил нет и тоска смертная. Кругом все чужие, каждый печется о себе. Сочувствия не может быть. Кругом густой мат, жестокость и черствость. Моментально я беспрдельно обовшивел – так, что прекрасные крошки сотнями бегали не только по белью, но и сверху, по шинели. Жирная вошь с крестом на спине называлась тогда КВ – в честь одноименного тяжелого танка, и забыли солдатики, что танк назван в честь великого полководца К. Е. Ворошилова. Этих КВ надо было подцеплять пригоршней под мышкой и сыпать на рас-

каленную печь, где они лопались с громким шелканьем. Со временем я в кровь расчесал себе тощие бока, и на месте расчесов образовались струпья. О бане речи не было, так как жили на снегу, на морозе. Не было даже запасного белья. Специальные порошки против вшей не оказывали на них никакого действия. Я пробовал мочить белье в бензине и в таком виде надевал его на тело. Крошки бежали из-под гимнастерки, и их можно было стряхивать в снег с шеи. Но назавтра они опять появлялись в еще большем количестве. Только в 1942 году появилось спасительное средство – «мыло К»: желтая, страшно вонючая паста, в которой надо было прокипятить одежду. Тогда, наконец, мы вздохнули с облегчением. Да и бани тем временем научились строить.

И все же мне повезло. Я был никудышный солдат. В пехоте меня либо сразу же расстреляли бы для примера, либо я сам умер бы от слабости, кувырнувшись головой в костер: обгорелые трупы во множестве оставались на месте стоянок частей, прибывших из голодного Ленинграда. В полку меня, вероятно, презирали, но терпели. Я заготавливал десятки кубометров дров для офицерских землянок, выполнял всякую работу, мерз на посту. Изредка дежурил около радиостанции. На передовую меня сперва не брали, да и больших боев, к счастью, не было. Одним словом, я не сразу попал в мясорубку, а имел возможность привыкнуть к военному быту постепенно.

Обстрелы первоначально не пугали меня. Просто я не сразу понял, в чем дело. Грохот, рядом падают люди, стоны, брызги крови на снегу. А я стою себе, хлопаю глазами. Часто меня сшибали с ног и материли, чтоб не маячил на открытом месте. Но осколки и шальные пули пока меня не задевали. Очень скоро я нашел свое призвание: бросался к раненым, перевязывал их и, хотя опыта у меня не было, все получалось удачно – на удивление профессиональным санитарам.

В конце ноября началось наше наступление. Только теперь я узнал, что такое война, хотя по-прежнему в атаках еще не участвовал. Сотни раненых, убитых, холод, голод, напряжение, недели без сна... В одну сравнительно тихую ночь я сидел в заснеженной яме, не в силах заснуть от холода. Чесал завшивевшие бока и плакал от тоски и слабости. В эту ночь во мне произошел перелом. Откуда-то появились силы. Под утро я выполз из норы, стал рыскать по пустым немецким землянкам, нашел мерзлую, как камень, картошку, развел костер, сварил в каске варево и, набив брюхо, почувствовал уверенность в себе. С этих пор началось мое перерождение. Появились защитные реакции, появилась энергия. Появилось чутье, подсказывавшее, как надо себя вести. Появилась хватка. Я стал добывать жратву. То нарубил топором конины от ляжки убитого немецкого битюга – от мороза он окаменел. То нашел заброшенную картофельную яму. Однажды миной убило проезжавшую мимо лошадь. Через двадцать минут от нее осталась лишь грива и внутренности, так как умельцы вроде меня моментально разрезали мясо на куски. Возница даже не успел прийти в себя, так и остался сидеть в санях с вожжами в руке. В другой раз мы маршировали по дороге, и вдруг впереди перевернуло снарядами кухню. Гречневая каша вылилась на снег. Моментально, не стовариваясь, все достали ложки и начался пир! Но движение на дороге не остановишь! Через кашу проехал воз с сеном, грузовик, а мы все ели и ели, пока оставалось что есть... Я собирал сухари и корки около складов, кухонь – одним словом, добывал еду, где только мог.

Наступление продолжалось, сначала успешно. Немцы бежали, побросав пушки, машины, всякие припасы, перестреляв коней. Убедился я, что рассказы об их зверствах – не выдумка газетчиков. Видел трупы сожженных пленных с вырезанными на спинах звездами. Деревни на пути отхода были все разбиты, жители выгнаны. Их оставалось совсем немного – голодных, оборванных, жалких.

Меня стали брать на передовую. Помнятся адские обстрелы, ползание по-пластунски в снегу. Кровь, кровь, кровь. В эти дни я был первый раз ранен, правда рана была пустяшная – царапина. Дело было так. Ночью, измученные, мы подошли к заброшенному школьному зда-

нию. В пустых классах было теплей, чем на снегу, была солома и спали какие-то солдаты. Мы улеглись рядом и тотчас уснули. Потом кто-то проснулся и разглядел: спим рядом с немцами! Все вскочили, в темноте началась стрельба, потасовка, шум, крики, стоны, брань. Били кто кого, не разобрав ничего в сумятице. Я получил удар штыком в ляжку, ударил кого-то ножом, потом все разбежались в разные стороны, лязгая зубами, всем стало жарко. Сняв штаны, я определил по форме шрама, что штык был немецкий, плоский. В санчасть не пошел, рана заросла сама недели через две.

На передовой было легче раздобыть жратву. Ночью можно выползти на нейтральную полосу, кинжалом срезать вещмешки с убитых, а в них – сухари, иногда консервы и сахар. Многие занимались этим в минуты затишья. Многие не возвратились, ибо немецкие пулеметчики не дремали. Однажды какой-то старшина, видимо спьяна, заехал на санях на нейтральную полосу, где и он, и лошадь были тотчас убиты. А в санях была еда – хлеб, консервы, водка. Сразу же нашлись охотники вытащить эти ценности. Сперва вылезли двое и были сражены пулями, потом еще трое. Больше желающих не было. Ночью отличился я. Поняв, что немцы стреляют, услышав даже шорох, я решил ничего не брать, а лишь перерезал сбрую, привязал к саням телефонный кабель и благополучно вернулся в траншею. Затем – раз, два, взяли! – мы подтянули сани. Все продукты были изрешечены пулями, водка вытекла, но все же нажрались всласть!

У железной дороги Мга – Кириши наше наступление заглохло, а немцы заняли прочные позиции. Здесь, в большой деревне Находы, от которой сейчас не осталось и следа, я встретил новый 1942 год. Конец 1941-го был омрачен отвратительным эпизодом. Дня за три до этого начальство нашего дивизиона получило приказ выйти в немецкий тыл через брешь в обороне и оттуда корректировать стрельбу пушек. В страшный мороз, по глубоким сугробам, среди девственного леса шли мы километров двадцать на лыжах. Ракеты, освещавшие передовую, остались позади. Луна светила. Кругом стояли огромные ели. Наконец, на полянке обнаружили землянки, вырытые еще летом. Решили в них отдохнуть и обогреться. Наступил рассвет, и вдруг кто-то заорал:

– Немцы!

Я находился в крайней землянке и среагировал позже всех. Выбравшись на свет божий, я никого не увидел, и только вдалеке, в лесу, мелькали фигуры моих убежавших однополчан. Мне оставалось лишь идти вслед за ними. Под елкой меня встретил напуганный лейтенант с наганом наизготовку.

– А немцы?

– Не знаю, не видел...

Оказалось, что была паника, все побежали, а начальство раньше всех. Все бы ничего, да в горячке в землянке забыли рацию. А я-то и не знал! Решили вернуться. Но теперь оказалось, что немцы действительно заняли наше место. Завязалась перестрелка, и мы ретировались несолоно хлебавши. Рация была потеряна, приказ не выполнен. Перед Новым годом последовали репрессии. Приехал следователь, были допросы. Нашелся козел отпущения – начальник рации, симпатичный сержант Фомин. Потом состоялось заседание трибунала – спектакль с заранее predetermined финалом. Финал, впрочем, оказался лучше, чем мы ожидали – Фомин и еще один солдат, укравший мед у хозяйки в Находах, получили по десять лет тюрьмы с отбыванием наказания после окончания войны. Барданосов (так звали укравшего мед) вскоре искупил свою вину: пуля пробила ему легкое. Выжил ли он, не знаю. Фомин же долго и хорошо служил с нами, и, очевидно, позже его реабилитировали. Но в канун Нового года всем было тошно. Вернувшись с передовой, я уснул в теплой землянке, проспал полночь и даже не услышал пальбы, которая поднялась в этот час повсюду.

Вскоре мы покинули Находы – последнюю деревню, которую я видел до середины 1943 года. Полк перебазировался в болотистое мелколесье около станции Погостье. Все думали, что

задержка здесь временная, пройдет два-три дня, и мы двинемся дальше. Однако судьба решила иначе. В этих болотах и лесах мы застряли на целых два года! А все пережитое нами – это были лишь цветочки, ягодки предстояли впереди!

## ПОГОСТЬЕ

*Тот, кто забывает свою историю, обречен на ее повторение  
Древний философ*

На юго-восток от Мги, среди лесов и болот затерялся маленький полустанок Погостье. Несколько домиков на берегу черной от торфа речки, кустарники, заросли берез, ольхи и бесконечные болота. Пассажиры идущих мимо поездов даже и не думают поглядеть в окно, проезжая через это забытое Богом место. Не знали о нем до войны, не знают и сейчас. А между тем здесь происходила одна из кровопролитнейших битв Ленинградского фронта. В военном дневнике начальника штаба сухопутных войск Германии это место постоянно упоминается в период с декабря 1941 по май 1942 года, да и позже, до января 1944-го. Упоминается как горячая точка, где сложилась опасная военная ситуация. Дело в том, что полустанок Погостье был исходным пунктом при попытке снять блокаду Ленинграда. Здесь начиналась так называемая Любаньская операция. Наши войска (54-я армия) должны были прорвать фронт, продвинуться до станции Любань на железной дороге Ленинград-Москва и соединиться там со 2-й ударной армией, наступавшей от Мясного Бора на Волхове. Таким образом, немецкая группировка под Ленинградом расчленялась и уничтожалась с последующим снятием блокады. Известно, что из этого замысла получилось. 2-я ударная армия попала в окружение и была сама частично уничтожена, частично пленена вместе с ее командующим, генералом Власовым, а 54-я, после трехмесячных жесточайших боев, залив кровью Погостье и его окрестности, прорвалась километров на двадцать вперед. Ее полки немного не дошли до Любани, но, в очередной раз потеряв почти весь свой состав, надолго застряли в диких лесах и болотах.

Теперь эта операция, как «не имевшая успеха», забыта. И даже генерал Федюнинский, командовавший в то время 54-й армией, стыдливо умалчивает о ней в своих мемуарах, упомянув, правда, что это было «самое трудное, самое тяжелое время» в его военной карьере.

Мы приехали под Погостье в начале января 1942 года, ранним утром. Снежный покров расстилался на болотах. Чахлые деревья поднимались из сугробов. У дороги тут и там виднелись свежие могилы – холмики с деревянными столбиками у изголовья. В серых сумерках клубился морозный туман. Температура была около тридцати градусов ниже нуля. Недалеко грохотало и ухало, мимо нас пролетали шальные пули. Кругом виднелось множество машин, каких-то ящиков и разное снаряжение, коекак замаскированное ветвями. Разрозненные группы солдат и отдельные согбенные фигуры медленно ползли в разных направлениях.

Раненый рассказал нам, что очередная наша атака на Погостье захлебнулась и что огневые точки немцев, врытые в железнодорожную насыпь, сметают все живое шквальным пулеметным огнем. Подступы к станции интенсивно обстреливает артиллерия и минометы. Головы поднять невозможно. Он же сообщил нам, что станцию Погостье наши якобы взяли с ходу в конце декабря, когда впервые приблизились к этим местам. Но в станционных зданиях оказался запас спирта, и перепившиеся герои были вырезаны подоспевшими немцами. С тех пор все попытки прорваться оканчиваются крахом. История типичная! Сколько раз потом приходилось ее слышать в разное время и на различных участках фронта!

Между тем наши пушки заняли позиции, открыли огонь. Мы же стали устраиваться в лесу. Мерзлую землю удалось раздолбить лишь на глубину сорока-пятидесяти сантиметров. Ниже была вода, поэтому наши убежища получились неглубокими. В них можно было вползти через специальный лаз, закрываемый плащ-палаткой, и находиться там только лежа. Но зато в глубине топились печурка, сделанная из старого ведра, и была банная, мокрая теплота. От огня снег превращался в воду, вода – в пар. Дня через три все высохло и стало совсем уютно, во всяком случае, спали мы в тепле, а это было великое счастье! Иногда для освещения землянки



жгли телефонный кабель. Он горел смрадным смоляным пламенем, распространяя зловоние и копоть, оседавшую на лицах. По утрам, выползая из нор, солдаты выхаркивали и высмаркивали на белый снег черные смолистые сгустки сажи. Вспоминаю, как однажды утром я высунул из землянки свою опухшую, грязную физиономию. После непроглядного мрака солнечные лучи ослепляли, и я долго моргал, озираясь кругом. Оказывается, за мною наблюдал старшина, стоявший рядом. Он с усмешкой заметил:

– Не понимаю, лицом или задницей вперед лезешь...

Он же обычно приветствовал меня, желая подчеркнуть мое крайнее истощение, следующими любезными словами:

– Ну, что – все писаешь на лапоть?

И все же жизнь в землянках под Погостьем была роскошью и привилегией, так как большинство солдат, прежде всего пехотинцы, ночевали прямо на снегу. Костер не всегда можно было зажечь из-за авиации, и множество людей обмораживали носы, пальцы на руках и ногах, а иногда замерзали совсем. Солдаты имели страшный вид: почерневшие, с красными воспаленными глазами, в прожженных шинелях и валенках. Особенно трудно было уберечь от мороза раненых. Их обычно волокли по снегу на специальных легких деревянных лодочках, а для сохранения тепла обкладывали химическими грелками. Это были небольшие зеленые брезентовые подушечки. Требовалось налить внутрь немного воды, после чего происходила химическая реакция с выделением тепла, державшегося часа два-три. Иногда волокушу тянули собаки – милые, умные создания. Обычно санитар выпускал жоака упряжки под обстрел, на нейтральную полосу, куда человеку не пробраться. Пес разыскивал раненого, возвращался и вновь полз туда же со всей упряжкой. Собаки умудрялись подтащить волокушу к здоровому боку раненого, помогали ему перевалиться в лодочку и ползком выбирались из опасной зоны!

Тяжкой была судьба тяжелораненых. Чаще всего их вообще невозможно было вытянуть из-под обстрела. Но и для тех, кого вынесли с нейтральной полосы, страдания не кончались. Путь до санчасти был долог, а до госпиталя измерялся многими часами. Достигнув госпитальных палаток, нужно было ждать, так как врачи, несмотря на самоотверженную круглосуточную работу в течение долгих недель, не успевали обработать всех. Длинная очередь окровавленных носилок со стонущими, мечущимися в лихорадке или застывшими в шоке людьми ждала их. Раненные в живот не выдерживали такого ожидания. Умирали и многие другие. Правда, в последующие годы положение намного улучшилось.

Однако, как я узнал позже, положение раненых зимою 1942 год а на некоторых других участках советско-германского фронта было еще хуже. Об одном эпизоде рассказал мне в госпитале сосед по койке: «В сорок первом нашу дивизию бросили под Мурманск для подкрепления оборонявшихся там частей. Пешим ходом двинулись мы по тундре на запад. Вскоре дивизия попала под обстрел, и начался снежный буран. Раненный в руку, не дойдя до передовой, я двинулся обратно. Ветер крепчал, выюга выла, снежный вихрь сбивал с ног. С трудом преодолев несколько километров, обессиленный, добрался я до землянки, где находился обогревательный пункт. Войти туда было почти невозможно. Раненые стояли вплотную, прижавшись друг к другу, заполнив все помещение. Все же мне удалось протиснуться внутрь, где я спал стоя до утра. Утром снаружи раздался крик: «Есть кто живой? Выходи!» Это приехали санитары. Из землянки выползло человека три-четыре, остальные замерзли. А около входа громоздился штабель запорошенных снегом мертвецов. То были раненые, привезенные ночью с передовой на обогревательный пункт и замерзшие здесь... Как оказалось, и дивизия почти вся замерзла в эту ночь на открытых ветру горных дорогах. Буран был очень сильный. Я отделался лишь подмороженным лицом и пальцами...»

Между тем, в месте нашего расположения под Погостьем (примерно в полукилометре от передовой) становилось все многолюдней. В березняке образовался целый город: палатки, землянки, шалаши, штабы, склады, кухни. Все это дымило, обрастало суетящимися людьми,

и немецкий самолеткорректировщик по прозвищу «кочерга» (что-то кривое было в его очертаниях) сразу обнаружил нас. Начался обстрел, редкий, но продолжавшийся почти постоянно много дней, то усиливаясь, то ослабевая. К нему привыкли, хотя ежедневно было несколько убитых и раненых. Но что это по сравнению с сотнями, гибнущими на передовой! Тут я расстался с сослуживцем, приехавшим вместе со мною из ленинградской радиошколы. Это был некто Неелов. Осколок пробил ему горло, как кажется, не задев жизненных центров. Он даже мог говорить шепотом. Перемотав ему горло бинтом, я отвез его на попутной машине в санчасть, расположившуюся километрах в пяти от нас в палатках.

Странные, диковинные картины наблюдал я на прифронтовой дороге. Оживленная, как проспект, она имела двустороннее движение. Туда шло пополнение, везли оружие и еду, шли танки. Обрато тянули раненых. А по обочинам происходила суета. Вот, разостлав плащ-палатку на снегу, делят хлеб. Но разрезать его невозможно, и солдаты пият мерзлую буханку двуручной пилой. Потом куски и «опилки» разделяют на равные части, один из присутствующих отворачивается, другой кричит: «Кому?» Дележ свершается без обиды, по справедливости. Такой хлеб надо сосать, как леденец, пока он не оттаяет. Холод стоял страшный: суп замерзал в котелке, а плевков, не долетев до земли, превращался в сосульку и звонко брякал о твердую землю... Вот закапывают в снег мертвеца, не доведенного до госпиталю раненого, который то ли замерз, то ли истек кровью. Вот торгуются, меняя водку на хлеб. Вот повар варит баланду, мешая в котле огромной ложкой. Валит пар, а под котлом весело потрескивает огонь... На опушке леса я наткнулся на пустые еловые шалаши. Вокруг них разбросаны десятки черных морских бушлатов, фуражки с «капустой», бескозырки с ленточками и множество щегольских черных полуботинок. Здесь вчера переодевали в армейскую теплую одежду морских пехотинцев, пришедших из Ленинграда. Морячки ушли, чтобы больше не вернуться, а их барахло, никому не нужное, заматает редкий снежок... Дальше с грузовика выдают солдатам белый (!) хлеб. (Жрать-то как хочется!!!) Это пришел отряд «политбойцов». Их кормят перед очередной атакой. С ними связаны большие надежды командования. Но и с морской пехотой тоже были связаны большие надежды... У дороги стоят повозки и передки орудий. Сами орудия и их персонал ушли в бой. Барахло, очевидно, уже никому не принадлежит, и расторопные тыловики обшаривают этот обоз в поисках съестного. У меня для такой операции еще не хватает «фронтовой закалки»... Опять кого-то хоронят, и опять бредут раненые... С грузовика оглушительно лупит по самолету автоматическая зенитная пушчонка. Та-тах! Та-тах! Тэтах!.. Но все мимо...

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.